



# Равновесие эмоций

## *Предисловие*

По сути дела, к этому тому, соединившему в себе два совершенно разных сборника, я бы должна была написать два предисловия, сильно друг от друга отличные. Ибо каждая книга всегда — отдельна и, как человек, обладает своим выражением лица. Она всегда — слепок тех дней, месяцев, а иногда и лет, которые писатель проживает вместе с ней, пока над ней работает. Если вспомнить, насколько мы сами меняемся, а уж тем более насколько меняются наши взгляды на события, на людей и на встречи в прошлом, станет ясно, что каждая новая книга автора кажет свое лицо — неповторимое, как и время, в которое она писалась.

В этом смысле рассказы и повести сборника «Цыганка» значимы для меня вдвойне: каждая история, лежащая в основе этих произведений, была либо прожита мною лично, либо связана с моей семьей, либо соотносится с неповерхностными, небудничными событиями в жизни персонажей и потому дорога мне так же, как прожитая лично. Словом, сборник «Цыганка» — совершенно отдельный в моей писательской судьбе.

В каком бы жанре ты ни работал и какую бы интонацию ни выбрал — для большой ли повести, для маленького ли рассказа, — твой голос всегда соизмеряет свое звучание с событиями конкретной истории. А если истории эти — судьбы твоих родных, которые с возрастом как бы приблизились к тебе, предстали во всем требовательном

6 размахе; когда вы стали ровесниками и — сквозь десятилетия, сквозь туманные пласты небытия — пристально оглядываете друг друга, сравнивая родственные черты, жесты, повадки, схожие факты биографий...

Кроме того, есть в этом сборнике еще одна примечательная черта: многие рассказы написаны о людях такого преклонного возраста, что казалось — это само время говорит со мной, окликает меня, требует воплотиться.

Помню крошечную квартирку Асты Давыдовны Бржезицкой, легендарного, старейшего скульптора, чьи фарфоровые шедевры украшают музеи, театры, частные коллекции. Я пришла взять у нее интервью для небольшой ведомственной газеты, которую выпускала в собственном отделе культурных и общественных связей «Сохнута». Могла бы прислать одного из сотрудников отдела, но уж очень сама любила с детства чудесно одушевленные, почти живые фигурки дулевского фарфора — эти берущие за душу сценки из жизни. Как, подумала, неужели создатель этой красоты Аста Бржезицкая еще жива?! Было ей тогда за девяносто. Но острый ум, ясная память, великолепная ирония и живая душа — очаровывали любого собеседника. Приходила я два дня подряд; сначала долго записывала на диктофон воспоминания Бржезицкой, потом мы пообедали и за обедом болтали уже обо всем, хохоча и вспоминая бог знает какие забавные мелочи. Я уже прекрасно понимала, что потом переделаю это интервью в рассказ или повесть, и потому вопросы иногда задавала «не для интервью» — острые, даже провокационные...

Но когда, отбыв служебный срок в «Сохнута», вернулась домой и засела за работу... я вдруг ясно ощутила, что переделывать и олитературивать ничего не хочу. Хочу, чтобы со всеми паузами, оговорками и якобы незначительными деталями Аста Давыдовна предстала перед читателем вся целиком, со своим острым упрямым характером, своеобразной неприглаженной речью, — настоящая, подлинная, живая... тем более что в то время она уже покинула пределы своей физической жизни. Я оставила все

как есть: просто голос ее звучит, голос, вмещающий всю ее жизнь...

И другая великая старая женщина, Лидия Борисовна Либединская, в рассказе «В России надо жить долго», казалось, была со мной все время, пока я писала эту новеллу. И мой дом — не знаю, проявилась ли тут какая-то мистика, — все время являл мне какие-то ее подарки: то вдруг случайно наткнушь на скромный браслетик из яшмы в длинном бархатистом футляре, подаренный ею много лет назад. То взгляд выхватит — на полке — набор, солонку с перечницей — петушка да курочку — веселой такой сине-белой гжели.

А еще в этом сборнике — море любви; и я, которая всегда долго и придирчиво размышляю над названиями своих вещей, решила тут поступить просто, согласно исконной мировой литературной традиции, назвав эти истории именами возлюбленных: «Адам и Мирьям», «Дед и Лайма» и даже... «Ральф и Шура», — и кому мешают, что в этой миниатюре рассказывается о любви не людей, а животных?

Ну а в рассказах «Цыганка» и «Душегубица» собственная родня как бы встала передо мной требовательным кордоном, ревниво и грозно посматривая — из такой временной дали! — чтобы мое так называемое «воображение» не слишком усердствовало, не нахальничало уж слишком, уступив место простому рассказу, подлинной истории семьи.

А вот другая половинка этого сборника, книга «Больно только когда смеюсь», вполне себе жила много лет под своей собственной отдельной обложкой. И в отличие от книги «Цыганка», что растет внутрь и в глубину, — обернута вовне, и соавторов в ней, вернее, собеседников, множество: десятка два журналистов, которые брали у меня интервью в разные годы для разных изданий.

Эта книжка полна и смеха, и боли; в ней множество баек и застольных историй, которые «не доросли» до того,

8 чтобы стать литературным рассказом, но уже выросли из просто анекдота. Подобные истории — и поучительные, и занимательные, и грустные тоже, — я всегда держу на всякий случай под рукой и в памяти. Они бывают нужны в трудных беседах, на встречах с читателями, в лекциях перед какими-нибудь славистами какого-нибудь Корнельского университета, которые сидят передо мной с похоронными лицами, полагая, что русский писатель непременно должен быть повернут к читателям и переводчикам трагическим ликом. Тогда я начинаю с того, что рассказываю какой-нибудь анекдотичный или вовсе уж малоприличный случай из жизни и обнаруживаю, что слависты тоже умеют смеяться и обладают чувством юмора; что у нас вполне может получиться разговор... в том числе и о русской литературе.

Помимо того, что две эти столь разные книги были написаны приблизительно в один и тот же период времени, мне показалось, что неплохо бы уравновесить и подсветить подспудную печаль первой из них фейерверком радости и смеха второй. Ведь и жизнь довольно часто прибегает к этому приему: к этим тайным весам, чтобы равновесие столь разных эмоций в природе не нарушалось.

*Дина Рубина*

# РАССКАЗЫ



# Фарфоровые затеи

*Памяти*

*Асты Давыдовны Бржезицкой*

*Она крошечная, смуглая, иссушенная — словно обжиг прошла. Седая косица, заплетенная сзади. Глаукома, уже оперированная, но прогрессирующая.*

## ПРОСТО ЖИЗНЬ

— Гуленька, деточка, не бойся, она не страшная, не укусит... Нет, не верит никому. Видишь, кто бы ни пришел, она под диван забивается. Деточка... Настродалась от добрых людей...

Что это за свертки ты вытаскиваешь, какого черта? У меня все есть, я сама тебя сейчас накормлю... Ну, не хочешь — сиди голодной. Ты не против, что я на «ты»? Имею право: девяносто лет — это уже не возраст, это эпоха...

...Пойдем сядем на диван — он называется «Шурик». У меня сосед был Шурик, таксист, я упросила его поехать со мной купить новый диван. Вроде как он мой муж. Шурик говорит: «Да у меня на морде написано, что я таксист!» Но все ж поехал. Заходим, видим — стоит этот благородный диван, бархатный. Одинокий. Продавщица говорит: «Он вам не подходит. Во-первых, дорогой, во-вторых, не раскладывается, в-третьих, он последний».

12        А Шурик ей: «Кто вам сказал, что нам нужно его раскладывать? У меня этих коек дома навалом. Заверните! Берем!»

...Это что ты разматываешь, что за проводки? Ах, ну да... И что — весь этот мой бред неостановимый будет напечатан? А кому понадобится все это читать? Это же не роман какой-нибудь. Это просто жизнь... Вон любая старуха на лавочке — она тебе интереснее расскажет. Она и в политике разбирается, в отличие от меня. Хотя вот знаешь что — этому Президенту новому очень симпатизирую. Очень он мне нравится. Ведь он в моем сне спас Гулю от наводнения. Серьезно: помню, там на каком-то острове с грузовика в лодку перегружают двух свинок, козочку, а для Гули места не хватает, и она остается за бортом. И, знаешь, мы плывем, а Гуля — за лодкой, и лает, и лает... У меня просто сердце разрывается от горя! Тут какой-то господин рядом со мной — элегантный, худой — аккуратно снимает пиджак, подтяжки, галстук, ботинки и носки. Очень аккуратно складывает это стопочкой на скамейку, бросается в воду и спасает Гулю! Да-да — и забравшись в лодку, кричит: «Скорее сухое полотенце, она же совсем мокрая!»

Ну скажи — как я могу его после этого не любить?

У меня за него душа болит — вряд ли ему дадут что-то сделать хорошее. Ведь он не может окружить себя теми, кто умеет работать. Он, понимаешь, должен окружать себя теми, кому доверяет. А кто они, эти самые, кому он доверяет? Пацаны с его двора, говнюки окаянные. Ты как относишься к плохим словам?

— К матерным?

— Ну да.

— Хорошо отношусь. Это же определенная эмоциональная краска в разговоре, иногда необходимая.

— А я могу и без них вытерпеть. Немного, но могу.

— ...и Раневская ваша вот тоже...

— Да, доктор Бакулев знаменитый однажды пришел к Фаине Георгиевне. Он дружил с ней, любил ее очень... Мы с ней сделали обед, такой, приличный, но не шикарный — шикарный он не позволял. Пришел, говорит:

«На что жалуетесь, Фаина Георгиевна?»

«Александр Николаевич, не сру!»

«Сейчас посмотрим».

«Что — посмотрим?!»

— Евгения Леонидовна, ну, поехали, благословясь? Включаю кнопку... Здравствуйте, Евгения Леонидовна! Как я рада нашей встрече и как благодарна, что вы — легенда, так сказать, российского фарфора — дали на нее согласие. Я вот, знаете, долго не могла придумать, с чего разговор начать. А как только переступила порог, увидела эти ваши скульптуры, которые с детства во многих семьях, на многих столах, буфетах, полках встречала...

— ...А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый семьдесят лет, — это праздность. Самое страшное, что надвигается слепота и — никуда от нее не деться...

— Нет, я так не могу! Я не могу с этого начинать!

— Чего ты не можешь, дура?! Тебе обязательно надо вот это самое — «родилась я в городе Тамбове»? А кстати, родилась-то я знаешь где? В Пензе... Дед был — миллионер, лесопромышленник; выбился в купцы первой гильдии трудом, умом и сверхъестественной честностью. А его брат Яша подался в революционеры. Ходил в кожанке, с наганом на по-

14 ясе... После революции у семьи сначала экспроприировали все предприятия, отняли деньги. Дед брату сказал: «Яша, ты этого хотел?»... Ну, в двадцатые годы «уплотнили» нас так, что вся семья жила в одной двадцатиметровой комнате в коммуналке. И снова дед спросил: «Яша, ты этого хотел?»

А в тридцать восьмом ночью пришли за Яшей и увели его навсегда. Дед успел прорыдать ему в спину, которую больше никто никогда не увидел: «Яша, ты этого хотел?!»

— А в Пензе... там большой дом был?

— Ну, домик кой-какой... Наша семья занимала весь верхний этаж. А знаешь, самое главное впечатление у меня от детства-то какое? Когда я в один день постигла, что такое рождение и что такое смерть. Это просто у меня такая метина, зарубка в памяти... Сперва я была принцессой в доме, потом появился брат Оська, не родной, сын моей тети Полюси. Родился, значит, Оська... И к нему шли с поздравлениями. Тетя Полюся стояла такая величавая, она у нас дородная была, в отличие от Саши.

— А... Саша?

— Саша — это моя мать. Я ее всю жизнь называла — Саша. Она изящная была, зеленоглазая, рыжая. И свистела.

— Как это — свистела?

— Погоди, не плунтайся под ногами! Это словечко нашей домработницы Суры, суровой женщины. Ей Борис Александрович, мой муж, говорил: «Сура Яковлевна, вы очень жирно готовите. У меня печень большая, я не могу так жирно есть». Она говорила: «Ай, не плунтайтесь под ногами, идите прежде!»... Я — про что?.. Да: так тетя Полюся принимала поздравления. У нас была лестница красного дерева, в разные стороны так разбегалась... И тетя Полюся сто-

яла наверху, на площадке, с младенцем на руках. Ему все несли какие-то приношения. А я — мне три года исполнилось — сидела в дедовом кабинете на козетке и тихо говорила: «А мне — ничего». И все думала, как же от него избавиться, от Оськи, жить-то надо.

Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла его наверх, в спальню... тяжелый, сволочь!

— Это вы — чтоб брата зарубить?

— Ну, само собой. Да, ташу топор... А наверху меня уже нянька моя, Настя, поджидает. Говорит: «Женюра, куда ты ночью топор тащишь?» Я говорю: «Оську убить. Помогите мне, я не могу, он тяжелый». Она отняла топор, объяснила, что Оську уж не стоит убивать. Грех это. Ежли родился, пускай живет...

— И вы смирились?

— Не сразу. Приходили все новые гости, приезжали родственники отовсюду. И приехал откуда-то из Франции, он там учился, роскошный дядя, неженатый. Этакий светский парижанин: я его помню не то во фраке, не то в смокинге... Кудрявый.

«Что ж ты тут сидишь грустная, Женюра?»

И я ему раскрыла сердце.

«Да ты что, разве можно так сокрушаться? Что ты, Оська — это же кусок мяса, а ты — шикарная женщина!.. А я тебе привез гостинец!» Открыл коробку, и оттуда волна запаха какой-то краски. Гадость, я сейчас думаю, отравы, но мне показалось волшебным ароматом. Внутри лежала Сестра Милосердия! Самая дешевая кукла, наверное, что попала к нему по дороге, на вокзале каком-нибудь, но дороже ее у меня не было. И на этом кончились мои страдания.

Я ведь вообще — в раю жила. Огромный двор у нас был — рай настоящий... Вставала рано-рано, часов в шесть, и выбегала босиком во фруктовый сад.